

ЭЛИНА

*Зеркало
Памяти*

БЫСТРИЦКАЯ



Судьба актрисы – это не цветы и аплодисменты. Это тяжелейший труд

Мою Аксинью в «Тихом Доне» казаки приняли

Если я что полюбила – то это всерьез и надолго. С Малым театром сложилось именно так

Поскольку танцевать я точно опоздала, решила реализовать свои вокальные возможности



ДОЛГОЕ ЭХО ЛЮБВИ

Зеркало памяти

Элина Быстрицкая

Долгое эхо любви

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Быстрицкая Э. А.

Долгое эхо любви / Э. А. Быстрицкая — «Издательство АСТ»,
2020 — (Зеркало памяти)

ISBN 978-5-17-121547-7

Удивительной женственностью, красотой, обаянием была наделена Элина Быстрицкая, женщина с железным характером и сильной волей. Именно такая могла сыграть Аксинью в фильме «Тихий Дон» и навсегда завладеть любовью зрителей. Актриса была хорошо знакома с Михаилом Шолоховым, и в этой книге дает свой ответ на вопрос, кто же все-таки был автором знаменитого романа. Она рассказывает читателю о радостных и трудных моментах своего творческого пути и многогранной общественной деятельности, об известных артистах – партнерах по сцене и кино – Михаиле Жарове, Борисе Бабочкине, Софье Гиацинтовой, Сергее Бондарчуке, Николае Черкасове, Михаиле Ульянове, о любимых ролях в Малом театре, который был для нее вторым домом. На его сцене Быстрицкая играла более шестидесяти лет. А потом неожиданно для себя сменила амплуа – стала певицей. И зритель принял ее в этой новой роли и поддержал.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-121547-7

© Быстрицкая Э. А., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

София Шегельман. Моя Элина	6
От автора	11
Полевая почта № 15938	12
На дальних подступах к мечте	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Элина Быстрицкая

Долгое эхо любви

© Э.А. Быстрицкая (наследники), 2020

© С.А. Шегельман, предисловие, послесловие, стихи, 2020

© РИА Новости, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

* * *

София Шегельман. Моя Элина

Общее место неглубокой философии – все мы родом из детства. Или из войны. Или из любви? Нам кажется, что мы выбираем для себя по себе. Но кому в нашем поколении досталось детство без войны? И кому судьбой начертано разминуться на всю жизнь с любовью? Так не бывает. А значит, мы только выбираем акцент, отправную точку начала пути. Где сказано, что это точка? Во всех случаях – конгломерат, плотный сплав всех доминант жизненных обстоятельств на конкретный момент. Потому у каждого из нас – будь он родом просто из детства, или из взрослого опыта военного, а потому всегда драматического детства, или из благополучного мирного и теплого семейного быта, – бывают в жизни моменты лирики, самозабвенной любви, восторга творчества или моменты отчаяния, гнева, обиды. Весь вопрос – чего больше, что преобладает. Тут уже вступают в права биография и характер – не только самого человека, но его семьи, его страны, его мира.

Моя Элина. Знаю Элину Авраамовну Быстрицкую сколько живу. Помню, какой она была, когда еще не стала великой актрисой, общественным деятелем, носителем многих почетных и уважаемых регалий и званий, и думаю, что правильно понимаю и чувствую, а потому и могу оценить ее мотивы и поступки. За долгую жизнь набралось бесчисленное множество интервью, рецензий, отзывов в самых разных изданиях. В большинстве – о железном характере, стальной воле и кремневой целеустремленности. В стиле «гвозди бы делать из этих людей». Не надо гвозди. Надо просто понять. Убрать за скобки мелочи. Кто, когда и как обидел, кто, где и почему не так понял... Остается то, что остается и после нас. Особо значительное. Все прочее несущественно.

Росла девочка в благополучном доме. Мама, папа, любящая бабушка, школа, подружки, игры в доктора или в Чапая. Самодельная сцена на лестничной площадке, занавес – бабушкина юбка, зрители – соседи, артисты – дети, дружная компания. И на все это обрушилась война, смела ту жизнь в момент. Детство кончилось в тринадцать лет. Дальше – кровь, смерть, голод. И такой характерный для того времени порыв стать в строй, подставить руки, не остаться в стороне. Четыре года беды – это всегда много. В тринадцать – это четверть всей прожитой жизни. То есть характер складывается из этих лет, из этих бед. И побед. Чтобы жить, надо побеждать. По-другому – поражение. И еще – надо отвечать за все. Головой. Не меньше. Такова исходная позиция. Таково мировосприятие, тесно сплетенное с мироощущением – той данностью, что определяется генами, воспитанием. Таков ракурс видения жизни. Таково отношение к себе и своему месту в ней. К корням.

Никогда жизнь не бывает одноцветной, даже в беспросветности военных будней были свои отдушины. Этакое хорошее через плохое. Непредсказуемые дороги войны привели нас в город Актюбинск. Благо, ненадолго. В домике, где мы поселились, полы были глинобитные. Сегодня мало кто знает, что это такое. А это на самом деле земляной пол, который вместо мытья надо промазывать свежесмешанным составом из воды, жирной глины и коровьих лепешек. Вы спросите, зачем навоз? Так глины столько не наберешься, где ее брать в солончаках, там даже колодезная вода густосоленая. Процедура как бы несложная: все компоненты в деревянной бадье смешать с этой самой соленой водой и тщательно ногами вымесить, а потом, стоя, естественно, в той самой позе, которая в интеллигентном варианте называется «на карачках», очень ровно и гладко размазать полученную «мастику» по всему полу, не оставляя огрехов или толщин, и потом не входить, пока не высохнет. Вошение паркета по сравнению с этой процедурой – просто фитнес-шоу. В комнате, где мы жили, эта работа ложилась на плечи моей сестры. Сначала надо было пойти в степь, набрать этих свежих коровьих лепешек для пола и заодно сухих кизяков на растопку, а уж потом выполнять все вышеописанное. Дом стоял на окраине,

за ним – капустное поле, уже без капусты (а темнозеленые крайние капустные листья, если находили, мы в этой самой соленой воде варили и ели), а дальше – степь. И моя бесстрашная сестра ходила туда одна, только хозяйскую собаку брала с собой. Сегодня, начитавшись Сабанеева, я твердо знаю, что это был пойнтер. А тогда и слова-то такого, наверное, не слыхала. Просто была большая и добрая шоколадного цвета собака по кличке Букет.

В один из таких степных походов сестричка моя то ли спрыгнула, то ли свалилась в довольно глубокую яму. Выбраться из нее долго не могла, а Букет метался вверху, лаял, скулил, хотел помочь, да не знал, как. Уже и смеркаться стало, а в степи ночью еще страшнее, чем днем: шакалы. После множества безуспешных попыток ухватиться за торчащие из краев ямы корни и стебли Элина сообразила – сняла свой солдатский ремень, бросила конец с пряжкой Букету, и пес, упершись всеми четырьмя лапами в землю, вытащил сестру наверх. Многие собаки верно служили людям и совершали героические подвиги. Я чту Букета больше, чем других.

А вернувшись, сестричка моя занялась наведением чистоты с помощью коровьих лепешек. Это ей тогда еще пятнадцати лет не было.

Странно, мы много лет с нею не вспоминали эту историю. Но любовь к собакам она несет через всю жизнь, моя прославленная и великая и самая любимая и дорогая старшая сестра. У меня навсегда осталось чувство вины, что не помогала ей с этим самым навозом, что ленилась растопить печку, сидя дома (это уже попозже, когда мы вернулись домой и я пошла в школу), что съела целый чугунок каши, сваренной на троих, не со зла и не от жадности, а просто по незнанию и с голодухи. Это все – про теперь, когда мы взрослые, чтоб не сказать более точно. А тогда было единственное желание – остаться в живых после тихого ужаса глубокого тыла.

Сегодня я слушаю, как ее теплый голос распевно произносит знакомые с детства строки пушкинских сказок, плоть от плоти народных, завораживает миром фантазии, небыли. Слушаю и вспоминаю давнее, детское, еще никак с театром не связанное:

...Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь... —

восхищенно читает мне Элина, и в комнате воочию появляется этот янтарный блеск, даже как бы вспыхивают блики огня на ее лице, слышен явственно треск веселого пламени, и кажется, даже воздух наполняется запахом горящих поленьев и теплом очага, хотя об этом у классика – ни слова. Эта вера в сказку, в чудо, в волшебство и умение заразить ими окружающих остались у нее на всю жизнь. В те давние уже времена слово *энергетика* могло относиться, например, к ДнепроГЭСу – это, если кто помнит, такая электростанция, – но разве это не та самая мощная энергетика, без которой нечего делать на театральных подмостках, да и вообще в творчестве?! А ведь Элина тогда была совсем еще девочкой, ученицей. Значит, жизненное предназначение заложено изначально? Но тогда почему так сложен путь к его осуществлению? Может быть, это и есть дорога к храму? Она тем круче, чем выше вознесен в собственном сердце храм. И тем сложнее, чем жестче жизненные обстоятельства. В данном случае – это война.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди, —

раздумчиво спрашивает Элина знакомыми словами Константина Симонова, и вспоминаются дороги войны, горящие хлеба вдоль тракта, разрывы бомб у железнодорожной колеи,

бегущие по ней от бомбежки до бомбежки санитарные поезда и наш быт в них. Голод. Голос Левитана – суровый или торжествующий, с нотками скорби или ликования. Люди. Разные – те, кто спасал, и те, кто нес беду. И работа. Взрослая, обязательная, ответственная работа рядом с кровью и смертью ради грядущей победы. Все это Элина прошла по возрасту ребенком, по своему отношению – взрослым человеком, зрелой личностью, развернутой навстречу жизни.

Уже в послевоенное время, где-то в начале семидесятых, появился в нашем доме немолодой и нездоровый человек. Звали его Костя Машинин, я сама его совсем не помнила, но помнили мама и Элина. Он приехал к нам на несколько дней погостить из Ленинграда. Оказалось, что в годы войны моя сестричка спасла ему жизнь. Как? Донором она была, после своей госпитальной смены кровь сдавала для раненых. И Костя не единственный, кто обязан ей жизнью. Просто другие в гости не приезжали. А ведь мы никогда не говорили об этом. Как будто это не подвиг, а так, течение времени.

Эту черту характера – идти навстречу всему, что несет жизнь, брать на себя всю полноту противостояния – она сохраняет по сей день. Потому стихи о войне воспринимает всем сердцем – не только их звучание и стройность формы, но и сюжетное наполнение, философию времени, последующее переосмысление своих действий и поступков окружающих. И она читает эти стихи так, будто написала их сама, на разрыв сердца, в унисон с автором. Потому что помнит цену тихой минуты, боль утраты, радость обретения, невозможный всплеск жизни среди немыслимой тлетворности войны. Ту самую открытость сердец, сегодня более редкую, чем в те трудные времена. Иным это понимание дается опытом целой жизни. Ей – быстролетними годами отрочества, когда максимализм – естественное состояние души. Наверное, поэтому способность к стратегическому отступлению не значится в ряду ее достоинств. В быту, конечно, бывает по-разному, но в творчестве Элина Авраамовна Быстрицкая – образец бескомпромиссности, целеустремленности, убежденности. В разные периоды жизни она доказала это в самых разных сферах своей деятельности. И когда вполне деятельно проявила себя как президент Федерации художественной гимнастики СССР, и в федерации любимого своего бильярда, и в общественной комиссии по патриотическому воспитанию – была такая комиссия, когда патриотизм не считался ругательством. Сегодня о комиссии мало кто помнит, но воспитательный порыв остался и реализуется вполне конкретно. Потому что дать послушать безбашенным подросткам нашего безбашенного времени отодвинутую триллерами-блокбастерами классику, например сказки-баллады, на которых возвращаются люди со здоровой психикой, – это уже миссия, и она взяла эту благородную миссию на себя.

Сегодня мы все радуемся за Светлану Алексиевич, критики наперебой спешат заявить, что с самого начала разглядели в ней большой талант. Критиканы, как им и полагается, критикуют. Когда только вышла ее книга «У войны – не женское лицо», это еще надо было осмыслить, доказать, принять. То есть конъюнктурный момент в то время отсутствовал. Но был текст, очень созвучный тому пути, который прошла Элина. И она первая подготовила моноспектакль – сценическое действие, в котором все героини Светланы Алексиевич, тогда еще не лауреата Нобелевской премии, а начинающего белорусского литератора, Элина представила зрителям. Это был очень успешный спектакль. И потому, что в основе его лежал живой подвиг народа, и в немалой мере по той причине, что полностью выкладываться в деле, которое делаешь, – это то «ноу-хау», которое служит основополагающим принципом деятельности Элины на протяжении всей ее жизни. То есть полная самоотдача – это для моей сестрички естественное самовыражение личности. Таким был наш отец – доктор Авраам Быстрицкий. Такова Элина. Не на пустом месте.

Как это преломляется в актерской работе? А вспомните фильм «Добровольцы» и его самую яркую сцену – собрание. Молнии из глаз, абсолютное пренебрежение к внешней красоте, отчего внутренняя, подлинная красота еще ярче и очевиднее. Чтобы так сыграть, нужно так чувствовать. Помню, в кинозале рядом со мной сидел пожилой уже, по моим тогдашним

меркам (лет, наверное, пятидесяти), мужчина с роскошными седоватыми усами. В какой-то момент он всхлипнул, я посмотрела – а у него по усам слеза течет. Дорогого стоит.

А если кому-то чужда страстность комсомольской юности, вспомните Аксинию – один из самых ярких женских образов в мировой литературной классике, а с появлением фильма Сергея Герасимова – и в классике кино. Не самоотречение, но – самоотдача, все богатство чувств, заостренное на любовь до последнего вздоха. И сам этот последний вздох на экране. Таинство смерти рядом с таинством жизни. Все как в реальности, только степень концентрации иная: надо ведь за часы киносеанса прожить любовь, разлуку, измену, материнство – целую жизнь. Вместе со зрителем. Наверное, не просто так казаки признали Элину за свою, даже воинское звание присвоили. А в детстве – помните? – были игры в Чапая. Не донской он был, яицкий, но – казак. Так сходятся круги на жизненном пути, где нет места случайности.

Ведь и те детские довоенные игры в доктора тоже сошлись не только службой в военном госпитале, не только красным дипломом фельдшера-акушерки. Была еще заглавная роль в арбузовской «Тане» – вполне успешное начало сценического пути в Вильнюсском русском драматическом театре. К счастью, еще живы люди, видевшие этот спектакль, потому что пьеса, столь популярная в пятидесятые годы прошлого века, уже ушла в историю. Пресса тогда сходилась на том, что исполнение Элины отмечено свежестью и непосредственностью. А я помню, кроме того, и разговоры в фойе во время антракта – самый непосредственный срез критики. Это было восхищение. Не только свежестью и непосредственностью, не только красотой и пластичностью, еще и точностью обозначения профессии в заданной драматургии. Более позднее подтверждение этой грани ее творчества находим в фильме Ф. Эрлера «Неоконченная повесть». При всей наивной предсказуемости развития сюжета сама ткань фильма настолько точна, что к героине Элины, доктору Муромцевой, хочется пойти полечиться. Фильм тогда прозвучал очень ярко, конкурсы в медицинские институты после его выхода выросли в разы, а новорожденных девочек стали массово называть Элинами, и мода на это имя продержалась долго. Уже в этой работе можно говорить о многогранности образа. Разумеется, тем, кто хорошо помнит фильм, прежде иного вспоминается сцена с больной девочкой – филигранное выражение профессиональной состоятельности и вместе с тем женского начала с точнейшими деталями – такими, как сброшенные с усталых ног туфельки. И никак не тяготивший в те времена привычный коммунальный быт, когда вполне уместно было музицировать на соседском фортепиано. Мы видим в ее исполнении эту привычность, укорененность в своем времени, в своем социальном и нравственном укладе. То есть органичность и глубину личности актрисы через ситуацию героини. А как не вспомнить сцену застолья – столько в ней теплого, домашнего, подлинного уюта тех трапез, когда «картошечка с селедочкой» были фоном для душевной песни.

Собственно, песня – это особая тема в жизни Элины Быстрицкой. Детство прошло на Украине, где песня – тот обязательный фон, без которого нет самой жизни. В наиболее общем виде он проявлялся, да, надо думать, и теперь проявляется, на провинциальных улицах в самом его народном выражении. «Розпрягайтэ, хлопци, конэй» много раз за вечер звучало под окнами – молодежь тогда больше развлекалась на свежем воздухе, дискотеки придумали позже. А из черной тарелки на стене лились песенные мелодии – «Цвитэ тэрен...», «Ой ты, Галю...», «Там, дэ явор...». И, разумеется, русская песенная классика – романсы, народные песни. Вы не поверите, но в те времена даже слова «попса» не было, не то что этого эрзаца музыкальной культуры. А была стихийная, неосознанная и не декларируемая любовь к песне, и это можно видеть сегодня по тому, как светлеют лица, когда звучит знакомая, любимая песенная мелодия.

Служение в театре предполагает некоторый уровень музыкальной культуры и владения вокалом, как и хореографией, орфоэпией или основами сценической речи. Понятно, что как природные данные, так и полученная ею школа, наработанный опыт, целая жизнь в условиях

одного из самых прославленных театров России обеспечили Элине высокий уровень этих критериев актерского мастерства. Можно, разумеется, подробно остановиться на ролях в пьесах А. Островского, М. Горького, О. Уайльда, А. Грибоедова, в которых оттачивала мастерство актриса Малого театра народная артистка Советского Союза Элина Быстрицкая. В свое время искусствоведы так точно и глубоко исследовали их, что и добавить нечего. А повторяться? Куда ближе хотя бы по времени успешные выступления в концертах труппы Малого театра – удачная находка последних лет. Успех окрыляет.

Уместно здесь сказать еще об одной грани ее характера, трудно определить, природной или полученной долгим путем самовоспитания. Так или иначе, но именно это качество зародило в ней профессиональный интерес к вокалу как самодостаточному виду исполнительского мастерства. Общеизвестно, что большой грех – «зарывать свой талант в землю», не отдать людям полностью то, чем наградила природа. Только не все относят это общее знание к себе лично. Потому что для этого нужны мужество и отвага. Совсем в зрелые годы, когда вопросы карьерного роста, стремление удивить или обескуражить, доказать себе и другим свою творческую и человеческую состоятельность уже как бы осуществились, когда прочно сложился имидж звезды и фамилия давно стала именем, когда театральный зритель приходит «на Быстрицкую», сама Быстрицкая отважно выходит на сцену совсем в новом качестве – не укрывшись за спиной драматурга и режиссера, не ожидая помощи партнера. Со всей отвагой первооткрывателя она позиционирует себя как певица, и зрители принимают ее с благодарностью и интересом.

Загадки в этом успехе, похоже, нет. Первый, кто испытывает счастье от вокальной деятельности народной артистки Советского Союза Элины Быстрицкой, – это Элина Быстрицкая. Вы когда-нибудь слышали хруст французской булки? А она с явственным восхищением слышит всякий раз, когда описывает нам, как упоительны в России вечера. А помните аромат белой акации? Она помнит. И даже обилием алых роз из пошловатого, на мой взгляд, недавнего шлягера не устает наслаждаться.

Она подготовила обширный репертуар, сверхтребовательно подходя к отбору вокальных произведений. Как и в иных гранях творчества, здесь особая роль отведена песням о войне, в том числе тем, которые мы помним как песни Бернеса.

Уместно отметить, насколько важно сохранить этот пласт национальной культуры, вернуть его в активное обращение. Вновь научить людей слушать и понимать услышанное. Наверное, это и определило ее выбор репертуара.

Можно, разумеется, подробно разбирать каждый романс, каждую забытую народную песню. Можно рассказать, что нового вносит актриса в свое исполнение старых, всем знакомых произведений. Но лучше просто слушать и разделять с Элиной счастье первооткрывателя, погружаться в чистый мир красоты и правды.

Это не просто присутствие, это работа. Та работа, которая в каждом отдельном случае дает понимание, соучастие – если хотите, соавторство. А без этого зачем слушать, читать, смотреть?

София Шегельман

От автора

Говорят, у каждого человека есть своя Книга судьбы. В моей уже известно много глав и страниц. Я мысленно листаю их, перечитываю. Есть яркие, написанные в счастливые для меня дни и годы. Встречаются тяжелые, окрашенные в серые, а то и в совсем темные тона. Жизнь есть жизнь, в ней случается всякое.

Вот навскидку одна из «записей» – для меня неожиданная, но приятная. Она относится к 1999 году. «Комсомольская правда» попросила читателей составить список из ста самых красивых женщин XX столетия. А потом журналисты «Комсомолки» принесли мне газетный разворот с фотографиями ста красавиц. Первое место большинство читателей отдали мне. Далее шли Ирина Алферова, Анастасия Вертинская, Алла Ларионова, Людмила Хитяева. И лишь во второй пятерке значились звезды западного кино: Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Мишель Морган и другие очаровательные женщины, покоровившие мир красотой. Мне было приятно, что русские актрисы возглавили этот звездный парад.

Я понимаю, что такой опрос – всего лишь журналистские игры. И все же отраднo видеть за ним признание моих соотечественников.

Другая популярная газета написала обо мне: «Любимица станиц и дворцов». Надеюсь, что по поводу станиц – это правда. А вот с дворцами все гораздо сложнее.

Впрочем, не буду цитировать, что обо мне еще писали, – в одних случаях это было бы нескромно, в других – горько и обидно. Иногда ведь даже похвалят так, что слезы на глаза набегают.

Бог не обделил меня внешними данными. Но я никогда не участвовала в конкурсах красоты.

Помню, что впервые слова «какая хорошенькая девочка» услышала от раненого солдата фронтового госпиталя, где я, тринадцатилетняя девчонка, работала санитаркой. Я оглянулась: о ком это он? Оказалось – обо мне.

Девочка давно стала взрослой, актрисой кино и театра. На ее долю выпало узнать многое: и творческие муки, и всенародное признание, и подозрительность сильных мира сего.

Мне досталось редкое счастье: встретить на перекрестках своей судьбы, на ее широких дорогах и узких тропинках многих замечательных, поистине уникальных людей. И о них – это повествование. Ведь по сути дела весь человеческий путь – это череда встреч с другими людьми, другими судьбами.

Я не стремилась написать автобиографию. В этой книге – лишь фрагменты, «кусочки» моей судьбы, рассказ о памятных событиях и дорогих мне людях. И я старалась быть объективной, мне не хотелось бы даже по неосторожности кого-либо обидеть – я научилась забывать неприятности и помнить добро.

Воспоминания теснятся, подсказывая то, что хотелось бы забыть, и напоминая о счастливых днях и встречах, даривших надежды, что все в жизни будет хорошо, что я сумею совершить много доброго и нужного.

Моя Книга судьбы еще не дописана, жизнь продолжается, и, как положено, она полна неожиданностей. Девочки уже нового времени с жадным любопытством спрашивают меня в письмах и на встречах: «Как вы стали актрисой?»

Господи, какой вечный вопрос! Мой ответ читатели найдут на страницах этой книги. И пусть тем, кто решится избрать для себя трудную и счастливую профессию служения театру, тоже светят звезды надежды...

Полевая почта № 15938

Название первой главы моей книги заставит иного читателя подумать: опять о войне... Нет, не только о войне – о себе, о том, что я не забыла и забыть никогда не смогу.

Меня часто спрашивают о моих корнях. Откуда, мол, ты и все твои предки? Многие журналисты даже пытались отыскать у меня в роду голубую кровь, а когда я сыграла Аксинью в «Тихом Доне» – видели во мне казачку во всем великолепии физической и духовной красоты. Донские казаки говорили мне: «Ты же наша, станичница, с Дона...»

Я никогда не придавала особого значения имени, отчеству, происхождению, а на часто задаваемый мне вопрос: «Откуда ты?» – говорила просто: «С Украины». Так было до тех пор, пока не получила право отвечать: «Из Москвы».

Да, мои корни на Украине. Там родилась и выросла моя мать Эсфирь Исаковна. Отец Авраам Петрович – из Польши, но долгие годы тоже жил на Украине. Там редко говорят «Авраам», бытует имя Аврам. Оно попало и в мою метрику в графу об отце. И так уж сложилось, что мои друзья и коллеги зовут меня Элиной Аврамовной, а не Авраамовной.

Имя мне выбрала мама – она очень любила героиню Кнута Гамсуна из пьесы «У врат царства». Правда, имя мое должно быть с двумя «л», но при оформлении документов паспортника, вероятно, ошиблась, и меня записали Элиной.

Если говорить, на кого я похожа, то, наверное, на всех своих родственников одновременно. Вроде бы на маму, но по некоторым чертам лица – на отца. Нос мне достался точно от бабушки.

Мне рассказывали, что когда мама меня носила, она соблюдала все народные, как у нас называли, женские «забобоны». Весь срок беременности она не смотрела и не слушала ничего такого, что могло бы вызвать отрицательные эмоции. Избегала любых ссор, а если при ней возникали какие-то перепалки – просто отходила в сторону. Это было разумное поведение, подсказанное народным опытом.

Я родилась в 1928 году в Киеве – в доме № 1 по улице Караваевской. Мама работала в школе, отец – военный врач, постоянно разъезжал по воинским гарнизонам, больницам, госпиталям.

Жили мы в квартире, которая принадлежала бабушке. В одной комнатке ютились бабушка, старшая мамина сестра и мой двоюродный брат. Во второй, в десять квадратных метров, – папа, мама и я. В комнатке стояли родительская кровать, моя кроватка, а когда через девять лет появилась сестричка, она заняла кроватку, а меня «выселили» на раскладушку. Еще стояли шкаф и маленькая этажерка с папиными книгами.

Как мы все вмещались в эту квартирку, сегодня я просто представить себе не могу. Правда, так жили не только мы, так жили очень многие. Дома были набиты людьми, как ульи пчелами. В моей памяти сама эта бабушкина квартирка почти не сохранилась, но я до сих пор помню: ее многочисленные обитатели непрерывно готовили еду, стирали, сушили белье. И, несмотря на такое скопление людей, ссоры были большой редкостью.

В нашем доме на лестнице был устроен детский «театр». Были места для зрителей – родителей и соседей, между этажами площадка – сцена и балкон – закулисье. Особенно часто мы представляли что-нибудь из «Чапаева». Чапаем был мой двоюродный брат, я, естественно, – Петькой. Выходила и важно командовала: «Тихо! Чапай думать будет!» Мне казалось, что я говорю это строго, и непонятно было, почему взрослые весело смеются.

В ответ на вопрос, откуда я родом, я могла бы ответить: из бедности, из коммуналки, из войны. Самое удивительное, что никто эту бедность не ощущал, – мы свято веровали, что это и есть счастливая жизнь, а завтрашняя жизнь вообще будет замечательной.

Но все же теснота нас донимала. И когда папе предложили переехать служить из столичного Киева в маленький городок Нежин, где можно было получить отдельную квартиру, он охотно согласился. Папу не смущало, что мы меняем столицу на провинцию, – он был человеком без ненужных амбиций. В Нежине находился военный гарнизон и требовался врач. Это был тихий зеленый городок.

Когда настало лето 1941 года, мы решили, что каникулы проведем у папы. Перед отъездом мама понесла в починку примус. Слесарь ей сказал:

– Куда вы едете, мадам? Будет война!

– Не говорите глупостей! – решительно ответила моя оптимистка мама. Хотя о надвигающейся войне тогда говорили многие.

Мы поехали. Взяли только летние вещи, предполагалось, что я буду купаться и загорать. В Киеве остались вся наша теплая одежда, альбомы с фотографиями, все то, что в каждой семье накапливается годами.

Несколько лет назад я попыталась у давних знакомых нашей семьи по Киеву отыскать наши семейные фотографии. Нашлись три-четыре, остальные погибли в огне войны, которая обрушилась на страну, на всех нас.

Она началась внезапно – бомбежками близкого Киева, спешной погрузкой частей местного военного гарнизона в эшелоны, воздушными тревогами, длинными очередями на призывных пунктах.

Я тоже хотела защищать Родину. И через неделю после начала войны, в конце июня, пошла в госпиталь, в котором служил мой отец. Его хорошо знали и уважали. Конечно, можно было попросить папу определить меня на службу, но я решила действовать самостоятельно: уже в то время я полагалась на собственные силы, и этот принцип остался в основе моего характера навсегда.

Часовые на проходной остановили меня, мне не удалось упросить их пропустить меня внутрь. Тогда я завернула за угол ограды и перелезла через нее.

В штабе госпиталя я нашла кабинет комиссара, смело вошла к нему и заявила:

– Хочу помогать фронту.

Фамилию комиссара я запомнила – Котляр. А имя и отчество уже стерлись в памяти. Он внимательно посмотрел на меня – тоненькую, худенькую – и спросил:

– Что ты умеешь делать?

Я очень важно, с достоинством ответила:

– Для фронта я умею делать все.

Комиссар вполне серьезно решил:

– Хорошо, будешь работать в нашем госпитале. Разносить раненым почту, писать им письма под диктовку, читать газеты...

Комиссар был мудрым человеком. Он понимал, как важно искалеченным войной людям общаться с приветливой, жизнерадостной девочкой.

Вначале на довольствие меня не ставили, сделали это потом, когда увидели, что я не сбежала ни от крови, ни от боли. Так я стала помогать армии, и эта служба продолжалась довольно долго.

Госпиталь располагался в Гоголевском лицее, в котором перед войной и после нее находился Нежинский педагогический институт, теперь это педагогический университет с долгой и славной историей. Когда я первый раз в 1948 году пришла туда на занятия и увидела аудитории, в которых в 1941 году были обустроены госпитальные палаты, лежали раненые, мне показалось, что я возвратилась в прошлое, в страшные дни начала войны, ужасы отступления по всем фронтам.

Госпиталь развернули как стационарный, но в Нежине он оставался очень недолго, так как вскоре пришлось отступить. Я пишу деликатно: отступить... Фронт быстро докатился до

нашего городка. Из Нежина лаборатория, которой руководил мой отец, и еще какое-то подразделение госпиталя выбирались на крытых грузовиках. Весь остальной личный состав уезжал поездом. Мы должны были соединиться на небольшой станции Готня под Харьковом.

Дорога, по которой мы двигались на своих грузовиках, шла мимо сел, между горящими полями. Неубранный хлеб сжигали, чтобы ничего не досталось врагу. А урожай в то лето выдался богатый... Низко стелился дым, пламя катилось по полям, и казалось, это сгорает наша прежняя жизнь.

Чтобы проскочить через пожарища, мы поливали брезент кузова водой. Это был ужас, и не верилось, что нам удастся выбраться из огненной западни. Первую ночь мы провели в сарае вместе с кроликами. Радовались, что над головой была крыша.

Мы ехали через город Сумы. Карты не было, дорогу спрашивали у местных жителей, один раз нам ее неправильно показали, и мы едва не попали к немцам. Обстановка сложилась такая, что невозможно было понять, где враги, а где наши.

Все-таки добрались до Готни, и там был развернут наш госпиталь. Не успели принять раненых, как нас отправили дальше. Давние очень дела, но все же ветераны, фронтовики, кому довелось там быть, помнят, что тогда творилось под Харьковом и на Северском Донце: наши войска наступали, отступали и в конце концов попали в окружение, которое позже получило название «харьковской мясорубки». наших бойцов и командиров полегло там без счета.

Тем не менее наш госпиталь сумел пробиться. Какой-то военный начальник, спасая раненых и врачей, своевременно отдал милосердный приказ покинуть Готню. Мы видели, как из отступавших красноармейцев наспех формировались части и им отдавался приказ стоять насмерть. Они и стояли, пока не погибали... Насмерть.

Что из себя представлял наш эшелон? Товарные вагоны-теплушки, двери раздвигаются в две стороны, и по обе стороны от дверей в два «этажа» настелены нары, сколоченные из широких толстых досок. Я помню, что мы были на втором «этаже». Рядом с нами оказалась доктор Шульга, беременная, животик у нее был уже достаточно большой. А внизу – доктор Быховский. Вагон забили до отказа, я даже не знаю, сколько нас в него затолкали.

Туалета в теплушке, ясное дело, не было. Приспособили горшки, кастрюли и отгородили уголок ширмой из тонких одеял. Вначале смущались, но вскоре привыкли. Вот так мы и ехали...

Самые жуткие воспоминания – бомбежки. Никогда не знаешь, не можешь предугадать, что будет в следующий момент. И не всегда удавалось выскочить из теплушки...

Через некоторое время врачи сказали, что нас направляют под Сталинград, где шли кровопролитные бои. Нас бомбили почти каждый день – большие красные медицинские кресты на крышах не спасали. Я помню одну страшно жестокую бомбежку. Как только появились вражеские самолеты, раздалась команда: «Всем из вагонов!» Я побежала вместе со всеми в степь и оттуда видела, как самолеты бомбили и расстреливали беззащитный санитарный поезд. Вагоны горели, взрывы бомб сбрасывали их с рельсов... Не приведи господи!

Нам помогли железнодорожники и подоспевшие на помощь бойцы какой-то части – собрали уцелевшие вагоны в подобие эшелона. Погибших (25 человек) сложили на крыши вагонов. Командование распорядилось отправить нас в ближний тыл на переформирование. Госпиталю сменили номер: был 1954, стал 3261. Отец принял решение, повергшее нас с мамой в шок: он попросился добровольцем под Сталинград. Собирая вещмешок, он говорил: «Я скоро вернусь!» А мы думали, что больше никогда не увидим его.

Наш госпиталь отправили в Уральск на переформирование, но часть личного состава попала в Актюбинск, в том числе и я с мамой и сестренкой. Это был тыловой город, где сбивались в то время тысячи эвакуированных, раненых. Все школы были заняты госпиталями. Раненые мрачно шутили: из Актюбинска две дороги – в землю и на фронт. Мы хотели на фронт

и дожидались приказа. Нам говорили: «Ждите!» В ожидании решения своей судьбы мы снимали комнату у какого-то железнодорожного служащего. Было не только голодно, но и страшно холодно: стояли суровые казахстанские морозы. Уголь и дрова в степном Казахстане стоили невероятно дорого, и каждый день я уходила в степь собирать кизяки и сухую полынь – единственные доступные нам виды топлива. Они сгорали в одно мгновение, и надо было успеть испечь лепешки на плите. Тепла ждать было нечего.

Вскоре моя настойчивая интеллигентная мама через военкомат все-таки разыскала наш госпиталь в Уральске, и мы отправились туда. Но там долго не задержались – госпиталь перебрали в прифронтную зону. Так мы попали в только что освобожденный Донецк.

В городе было очень много незахороненных трупов. Шурфы шахт были заполнены сброшенными в них останками людей. Донецк весь пропитался тошнотворным запахом гниения и смерти. В развалинах еще прятались немцы, их отлавливали, отправляли на сборные пункты.

Запах смерти и тлена я помню, а время года – нет. Господи, почему я этого не помню? Может быть, потому, что краски природы не воспринимались, их просто не было, все вокруг казалось черным-черно. А еще вот почему каких-то деталей не помню: я заболела, была без сознания. Меня на носилках унесли в подвал железнодорожной поликлиники, где разместился главный корпус госпиталя. Когда я пришла в себя, услышала немецкую речь. Я решила, что попала в плен, а оказалось, что рядом бредил раненый немец.

Я перебарывала болезнь, а тем временем разворачивали госпиталь. Он был большим – на пять тысяч коек. Все врачи, сестры и санитарки мыли полы и окна уцелевших зданий, выгребали мусор, ставили и стелили кровати, приносили отовсюду все, что могло пригодиться. Вся работа по устройству операционных, палат, лабораторий, аптечных пунктов делал личный состав. Никто не считался ни с должностями, ни с возрастом, ни со званиями. Ведь от того, как быстро удавалось развернуть госпиталь, зависела жизнь очень многих людей.

Выздоровливать я быстро. Да и залеживаться долго было нельзя – все выбивались из сил. В какой-то день ко мне подошла старшая сестра, спросила: «Встать можешь? Не хватает лаборанток...»

К этому времени я уже окончила двухмесячные курсы, после которых можно было стать медицинской сестрой. Но меня, малолетнюю, определили в лаборантки.

Когда приходили вагоны или машины с ранеными, на приемку выходили все. Наш госпиталь был сортировочным, и раненые поступали непрерывно. Я тоже выходила на приемку и чувствовала себя очень достойно оттого, что выполняю наравне со всеми тяжелую работу. Как мне удавалось с напарницей поднимать носилки с ранеными, сейчас представить просто не могу.

Втихомолку я гордилась, когда раненые в палатах говорили то ли в шутку, то ли всерьез: «Пусть придет вот та лаборантка, что с косичками, тогда я дам кровь, а другим – нет, не дам». Может, они представляли себе, что это к ним как бы приходит дочка или младшая сестричка. А я изо всех сил старалась сделать укол так, чтобы им не было больно. Освоила маленькую хитрость: надо отвлечь внимание раненого от укола каким-нибудь иным физическим действием – например, легонько шлепнуть его ладошкой. Понемногу я научилась пользоваться микроскопом, потом стала самостоятельно делать все анализы. Словом, я стала хорошей лаборанткой военного госпиталя, мою работу ценили и перестали делать скидку на возраст.

Меня порою спрашивают: что самое страшное было в войну? Я могла бы назвать многое: смерть людей на моих глазах, запах крови, который меня потом долго преследовал, горящие дома, станции и города, голод и холод.

А еще я вспоминаю железнодорожную станцию, на которой остановился наш эшелон. Рядом стоял развороченный бомбой или снарядом большой пульмановский вагон. Ветер выносил из него в черную обугленную степь белые треугольники – письма с фронта и на фронт.

Я печально смотрела на эту горестную метель: сколько же людей не дождутся весточки от своих родных, будут думать, что они погибли, сгинули, пропали бесследно в урагане войны!

Это видение преследовало меня многие годы и после войны. Я иногда видела, что и раненые бойцы смотрят со страшной тоской в глазах на метель из писем. Может быть, каждый из них думал, что в неизвестность улетал и его треугольник. Я бросалась делать успокоительные уколы, что-то лепетала о том, что письма соберут и отправят по назначению.

– Хороший ты человек, дочка, – хмуро сказал один из раненых.

Остальные молчали.

Мне хотелось крикнуть им, что, возможно, среди этих писем и мое письмо или весточка мне от папы. Но я промолчала: зачем добавлять к чужому горю свое? После того как папу отправили под Сталинград, мы изредка получали от него письма. Он писал, что жив, здоров, приходится трудно, но он надеется на скорую встречу. Потом письма перестали приходить и наступило глухое молчание. Мы с мамой подозревали самое худшее. Как могли, разыскивали папу, но ответа на свои запросы по месту его последней службы не получали. И каждый день надеялись: вот сегодня придет от папы письмо...

Оно пришло через несколько месяцев. Папа писал, что из-под Сталинграда его направили на Кавказ, где шли кровопролитные бои. Его часть попала в окружение. Они получили приказ выходить к своим поодиночке, мелкими группами. Папа отрастил бороду, обзавелся штатской одеждой. (В семье у нас хранилась фотография отца тех страшных дней: незнакомый человек с бородой, с глубоко запавшими глазами, в стареньком ватнике. Потом она исчезла – так случается, что самое дорогое мы не умеем сохранить.)

Однажды тяжело заболел генерал, командовавший остатками разгромленных войск. За ним прислали самолет с «Большой земли», как тогда говорили. Папу-врача приставили его сопровождать. Так он пересек линию фронта и немедленно стал нас разыскивать.

Отец и мама очень любили друг друга. Их любовь одолела все – войну, разлуку, горе. Для меня они на всю жизнь остались примером верности и преданности высоким чувствам.

Разыскать нас было нелегко. Госпиталь двигался вместе с линией фронта, с наступающими или отступающими войсками. Наше дело было принять раненых и «рассортировать» их. Кого в глубокий тыл, кого поближе, а иных, кто умирал, – похоронить.

Из Донецка нас перебросили на Северский Донец, в станицу Обливскую, там я впервые познакомилась с казаками и казачками, не подозревая, что когда-нибудь судьба подарит мне роль Аксиньи из «Тихого Дона».

Из Обливской мы попали в Одессу. Там была все та же тяжелая военная работа: раненые, умирающие и выздоравливающие, «выписывающиеся» на фронт или навсегда ставшие инвалидами. Это было страшно: вечером поправить тяжелораненому подушку под головой, уйти с дежурства, а утром узнать, что он умер. Смерть чаще всего приходила по ночам.

Меня редко назначали на ночные дежурства. Я их боялась, так как мне казалось, что ночью по пустым коридорам бродит смерть и заглядывает в палаты, где стонут от боли раненые. Через мои руки прошли сотни раненых, но лишь с одним из них я встретилась после войны. Было это уже на дипломном курсе театрального института. Или на преддипломном – не помню точно. Я зашла в гастроном рядом с домом, чтобы попить соку. Чувствую, из маленькой очереди смотрит на меня внимательно плотный крупный человек. И вдруг окликает: «Эла!» Меня так называли в детстве. Я не понимала, откуда он меня может знать. А парень говорит: «Я – Харченко». Вспомнила... В наш госпиталь привезли новую партию раненых, среди них один был особенно тяжелый. Врачи решили делать ему прямое переливание крови. Не буду вдаваться в медицинские подробности, скажу лишь, что раненый и донор лежат рядом на столах, они «соединены» так, что кровь из вены донора течет прямо в вены раненого. Я вошла... Лежал человек с закрытыми глазами, очень бледный, у него были темные волосы и очень длинные загнутые ресницы. Меня положили на стол рядом с ним, и моя кровь потекла в его вены.

Взяли ее около 500 граммов. Я сильно ослабла. Сестры помогли мне встать со стола, отвели в комнату, где я могла отлежаться, – сильно кружилась голова. Одна из них по пути сказала: «Твоего крестника зовут Вася Харченко».

В госпитале было принято: та медсестра, которая отдала кровь раненому, должна его и выхаживать. Меня, лаборантку, не очень допускали в палаты, я посещала их тогда, когда надо было взять кровь у раненых, или на ходу быстро сделать анализ, или подменить на дежурстве сестру. И все-таки я навещала «своего» раненого, что-то приносила ему, сидела у его кровати и о чем-то разговаривала. Уже по опыту знала, что раненые очень любят, когда с ними говорят не о ранах, а о том, как идет жизнь на воле.

Дела Васи Харченко пошли на поправку, и его перевели в команду выздоравливающих. Такие команды находились при какой-нибудь воинской части. Медсестры из госпиталя обычно навещали тех, с кем подружились и кому симпатизировали. Так было принято, и девушки, побывав у «своего», потом с удовольствием делились впечатлениями, не скрывая и достаточно интимных подробностей.

Я узнала, куда направили Харченко, и поехала к нему, хотя это было где-то очень далеко. Увидев меня, он страшно удивился и чуть ли не возмутился:

– Ты что здесь забыла?

Ему, парню, побывавшему в боях, было непонятно, зачем к нему явилась девчонка.

Вася очень резко выговорил мне за то, что я приехала к нему. Я не понимала, что плохого сделала, почему получила выговор.

Разобидевшись, я тут же собралась в обратную дорогу. Когда медсестры, гораздо старше меня, узнали о моем неудачном «путешествии», они ехидно улыбались, но ничего мне не объясняли. Одна из них сказала: «Хороший парень тебе попался, пожалел девчонку...» Я залилась густым румянцем, услышав эти слова.

Мне же просто хотелось узнать, что с ним. Все-таки не чужой – в его венах текла и моя кровь.

В 1944 году война покатила к закату, к Победе, и таким молоденьким, как я, уже не было особой необходимости служить.

Помню, замполит госпиталя мне сказал:

– Тебе надо учиться. Возвращайся в нормальную жизнь...

Замполит посоветовал мне зайти в штаб и взять справку о том, что я добровольно служила в действующей армии с такого-то по такой-то год. Тогда я, конечно, пропустила мимо ушей совет опытного человека и, припрыгивая и пританцовывая, понеслась собираться. Я и предположить не могла, что через годы настанет «время справок» и родится поговорка: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек!»

Все мое имущество вместилось в вещмешок. Я ушла в мирную жизнь повидавшей войну и кровь, мне еще долго слышались разрывы снарядов. Но Бог оберегал меня: я не приучилась курить и пить, не утратила доверия к людям. Грязь ко мне не пристала.

Отец остался служить в армии, а мы с мамой и сестренкой поехали в Киев и увидели, что жить нам там негде. Наш дом разбомбили. Я пришла к руинам этого дома, мы жили там всю мою жизнь до войны. Я помнила его большим, трехэтажным (у нас квартира была на втором этаже). А теперь увидела груды мусора и остатки крыши, которые взрывная волна забросила на соседний дом. Больше всего было жаль, что погибли все наши семейные архивы. Война беспощадно уничтожила мое детство, разделила время на «до войны» и «после». Впоследствии несколько детских фотографий я нашла у знакомых.

Несмотря на то, что мы были киевляне, места в Киеве нам не нашлось. И мы поехали в Нежин. Через военкомат вернули жилье отца, в котором встретили войну. Правда, нам предложили немного повременить, так как там находилось отделение Союза польских патриотов,

и пришлось ждать, пока его освободят. А выехали они после того, как закончилась война. До того мы снимали комнату у сотрудницы госпиталя.

Это было время, когда люди жили в ужасающей тесноте, но не в обиде – за редчайшим исключением все считали своим долгом помогать друг другу. Нас приютила врач-отоларинголог из госпиталя, в котором я служила. Естественно, возник вопрос, как мне быть, что делать дальше. Из госпиталя я ушла квалифицированной лаборанткой, могла, конечно, найти работу в какой-нибудь больнице или поликлинике, меня бы везде взяли. Но я хотела учиться. В школу идти было поздно, уже давно начался учебный год. Да и как я смогла бы учиться после такого длительного перерыва? И я поступила в трехгодичную фельдшерско-акушерскую школу – что-то вроде училища или техникума. Участие в войне давало мне право поступать сразу на второй курс. Кто-то из большого начальства разумно посчитал, что дни, проведенные на войне, тоже можно считать школой. Но я устояла перед соблазном воспользоваться этой льготой и пошла на второй семестр первого курса. За два с половиной года я окончила школу с отличием и добавила к своей военной специальности лаборантки специальности фельдшера и акушерки. Училась я легко – все это я уже «прошла» в госпитале.

Чтобы подвести черту под военным периодом своей жизни, расскажу о забавном эпизоде, который тем не менее причинил мне огорчения. В отделе кадров Малого театра была дама, которая заявила, что мое участие в войне – это все выдумки, сочинительство. Мол, Быстрицкая никогда и ни на каком фронте не была. Когда я узнала это, поехала в архив Министерства обороны (точное название не помню) в Звенигороде или в Подольске. Там подала заявление и попросила, чтобы нашли сведения обо мне и подтвердили участие в войне. Был уже 1984 год, и от войны нас всех отделяло тридцать девять лет. Можно представить, в каком я была ужасе, когда мне сказали, что моей фамилии в списках нет. Я настаивала, назвала номера госпиталей. Номер моей последней полевой почты был 15 938. Номера менялись, когда госпиталь после бомбежек перереформировывали, сливали с другими.

– Вы нигде не числитесь, – услышала я вновь.

– Этого не может быть! – твердо сказала я. И назвала фамилии начальника госпиталя, замполита, заведующего лабораторией, предъявила справку, что была лаборанткой.

– Не волнуйтесь, – успокоили меня работники архива. – Посмотрим более тщательно. А пока очень просим вас выступить перед нашим коллективом.

И пока я выступала, были найдены документы на мое материальное обеспечение в госпитале. Но не за весь период – это же надо было просмотреть безумное количество документов. Но и по тем, что нашли, мне определили полтора года службы в действующей армии. Это очень серьезный срок – такой есть не у каждого бывалого фронтовика.

Со временем меня наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями за участие в войне. И даже вручили значок «Сын полка» – звания «Дочь полка» не было.

Свой первый «мирный» орден я получила после поездки в США – «Знак Почета». Естественно, в Америке я никаких подвигов не совершала и искренне недоумевала, за что меня наградили: к орденам, как и у всех фронтовиков, у меня было святое отношение. Потом последовали другие награды: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, еще один «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» II степени, а затем и I-й. Медали мне перечислить было бы сложно...

На дальних подступах к мечте

По семейным планам я не должна была стать актрисой, мои родители решили, что я пойду по стопам отца. Он был очень уважаемым военным врачом широкого профиля, добросовестно изучил многие медицинские специальности. Если была необходимость оперировать – он оперировал, если требовалось лечить воспаление легких – он и это умел.

Мама тоже очень хотела, чтобы я продолжила папину профессию. И когда я впервые заговорила о театральном институте, они и слышать об этом не желали. Я с огромным пиететом, даже преклонением относилась к врачам, но у меня была своя мечта. Я не скрывала ее, хотя и понимала, что еще рано говорить о моем стремлении стать актрисой. Уступая воле родителей, я, фронтовая «сестричка», легко, без напряжения окончила медицинское училище. Как я уже упоминала, получила специальности фельдшера и акушерки. Диплом с отличием давал мне право без экзаменов поступить в институт. А в Нежине был единственный институт – педагогический. Против этого родители не возражали. Но я твердо решила, что буду бороться за свою мечту, и в педагоги не спешила. У меня были свои планы.

В нашей семье последнее слово принадлежало папе, и я отважилась на серьезный разговор с ним. Он приехал к нам в отпуск, первый раз после войны, из Дрездена, где тогда служил. Я выбрала удобный момент, чтобы заявить:

– Буду готовиться к поступлению в театральный институт.

Наверное, что-то в моем тоне было такое, что отец понял: это серьезно. И он, казалось, сдался:

– Хорошо, я сам посмотрю, что это за институт такой.

С искренним волнением вошла я в парадный подъезд этого учебного заведения, где, надеялась, найду свое счастье! Я шла рядом с отцом по ковровой дорожке, которая казалась мне неслыханной роскошью, ведь всю войну мебель нам заменяли деревянные ящики, служившие и столами, и кроватями. Мне казалось, что на нас оглядываются все встречающиеся, – отец был в военной форме: китель, начищенные до блеска хромовые сапоги, погоны, ордена.

Я гордилась своим отцом. Он был красивым человеком, форма ему шла, он носил ее уверенно, как и многие мужчины тех лет, считавшие, что это единственно достойная одежда. Мне казалось: вот сейчас мы войдем в кабинет директора, папа скажет какие-то веские слова, и директор не сможет ему отказать, меня примут даже без экзаменов.

Вошли... О директоре, Семене Михайловиче Ткаченко, среди абитуриентов и студентов ходили легенды – и грозный, и неприветливый. А тут из-за стола поднялся очень импозантный улыбающийся человек, скользнул взглядом по наградам отца, шаркнул ножкой и почтительно осведомился:

– Чем могу быть полезен?

Лишь много позже я поняла, что у такого института директор должен быть актером – он умел держаться по-разному.

– Объясните, пожалуйста, моей глупой дочери, что ей не следует поступать в ваш институт, – произнес отец.

У Семена Михайловича вытянулось лицо. Впервые к нему обращались с просьбой не принять дочь в институт, а, наоборот, отказать ей. А мои чувства вообще невозможно описать. Хрустальная мечта на глазах разлетелась вдребезги. У меня слезы брызнули градом. Я пулей вылетела из директорского кабинета...

Вечером я объявила отцу, что вообще нигде учиться не буду. Внешне спокойный, он ответил:

– Как хочешь. Мы поедем в Дрезден.

Отец умел быть непреклонным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.